



Л. ГАЛИЧ

О Вячеславе Иванове

«Умер в Риме, на 84 году жизни, последний русский поэт символист Вячеслав Иванов». <...> Вот и все, что я прочел в прошлую пятницу в коротенькой газетной заметке. Род, к которому принадлежал Вяч. Иванов, почти весь ушел. Кто же еще жив из тех замечательных людей, которых так волнующе приятно и интересно встречать в чердачной квартире Вяч. Иванова в 1905, 1906, 1907 годах? Нет Гиппиус, нет Сологуба, нет Бакста, Сомова, Билибина, Нувеля, нет Бердяева, Чулкова, Философова, Поликсены Сергеевны Соловьевой (сестры Владимира Соловьева, поэтессы Аллегро). Вот она, жестокая мудрость Экклезиаста: род проходит, а Земля остается. Только по временам нестерпимо печально и нестерпимо скучно жить на этой никуда не проваливающейся, а только нестерпимо пустеющей Земле.

Род, к которому принадлежал Вячеслав Иванов, многими и иногда даже заносчивыми трудами трудился под солнцем. В истории бывают эпохи неподвижные, ясные, отстоявшиеся. В такие эпохи дети послушно перенимают правила и мудрость жизни от отцов. Стиль в искусстве застывает и окаменеваает, и так же застывает и окаменеваает понимание и толкование мира, то есть философия. Тот коротенький отрезочек времени — всего какие-нибудь 15–20 лет — в течение которого зародился, развился и начал вырождаться русский модернизм, был не ясной и застывшей эпохой, а наоборот, исключительно непоседливой и хлопотливой. <...>

Вячеслав Иванов появился в Петербурге совсем незадолго до японской войны. Впрочем, кажется, еще в 1902 году вышел

первый сборник его стихов, вызвавший всеобщее недоумение. В Кружке Случевского, где задавали тон Ольга Чумина¹ и В. А. Мазуркевич, дивились неприличной для поэта учености автора и даже обижались на нее. «Лучше бы просто писал по латыни и по-гречески». Они по своему простодушию не догадывались, что этот ученейший филолог действительно пишет совсем не плохие стихи по латыни и даже по-гречески.

Пушкин как-то неосторожно сказал: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой»². Слова Пушкина были поняты буквально — особенно теми, у кого стихи получались глуповаты и без всякого пушкинского рецепта, по причинам вполне понятным и естественным. Прочитав первый, перегруженный ученостью и торжественностью, сборник Вяч. Иванова, я написал в петербургских «Новостях»: «Возможно, что среди нас появился большой поэт»³. До сих пор не могу понять, как это редактор «Новостей» Осип Константинович Нотович⁴ не зачеркнул этой неумеренной похвалы. Просто не просматривал рецензий о стихах. Кроме того, был у меня в «Новостях» защитник, помощник редактора Б. А. Катловкер, психиатр, бывший ординатор бессарабской Земской больницы для умалишенных⁵. Я называл его «доктором Беней», а он меня «бледнолицым Ленею». Бенья на свой страх и пропустил неприличную похвалу. Он своего хозяина не боялся. «Будет орать — черт с ним. Я привык к сумасшедшим».

В кружке Случевского на меня, впрочем, смотрели укоризненно. По крайней мере раз шесть мне настойчиво поставили на вид, что поэзия должна быть глуповатой. Так и не удалось Вячеславу Иванову пересилить эту якобы пушкинскую традицию до самого конца своей петербургской карьеры. Любопытно, что и в среде самого модернизма уже чуть ли не в 1907 году зародилась острая потребность в глуповатой поэзии. Застрельщиком этого глуповатого направления был С. М. Городецкий, который к тому же еще и жил у Вячеслава Иванова. И вот, в одну из знаменитых сред свою дионисиевскую <так!> поэму о Менаде, которая в начале стихотворения «душный рот отверзла и не дышит», а в конце:

Бурно рушилась мэнада
Словно лань
Словно лань,
С сердцем, бьющимся, как сокол,

Во плену, во плену,
С сердцем, жертвенным, как солнце,
Ввечеру, ввечеру

И вот после этой мифологии и торжественности Городец-
кий, со смешными ужимками, продекламировал свои сверх-
модернистские стихи про девочку, которая прощупывает дыру
в спинке старого кресла:

Засунешь палец — пыльно,
А вкус какой-то мыльный.

Все с каким-то благодарным облегчением смотрели на Горо-
децкого, даже как будто и сам Вячеслав Иванов. Нельзя держать
людей в постоянном перенапряжении. Довольно мы открывали
свои душные рты и не дышали. Спасибо Городецкому — дал
вдохнуть милый человек.

Впрочем, кто не допускает в поэзии почти богослужебной на-
пряженности и торжественности, никогда не поймет и никогда
не оценит и не признает Вячеслава Иванова. Пушкин, несмотря
на свой собственный рецепт, несколько не боялся торжественно-
сти. Его пророк говорит про себя почти на церковно-славянском
языке <...> У Вячеслава Иванова, конечно, никогда не было
ни простоты, ни улыбки, ни непринужденности. Но у него были
сотрясающие взрывы почти пророчески оглушающей патетично-
сти, как напр., в заключительных четырех строчках «Цусимы»:

Огнем крестися Русь, в огне перегори
И свой алмаз спаси из черного горнила.
В руках твоих царей сокрушены кормила
Се в небе кормчие ведут тебя цари

— Вспоминаю я, и упорно и благодарно вспоминаю и другое
перенапряженное патетическое стихотворение Вяч. Иванова,
которое, наверно, никому не понравилось бы в кружке Случев-
ского, но которое, как однажды сказал по поводу совсем другого
стихотворения И. А. Бунин — «больно и сладко входит в душу». В
этом стихотворении поэт обращается к заливающему мир све-
том, но не видящему этот свет солнцу:

О, солнце, вожатый ангел Божий <...>

Если мне скажут, что эти стихи не общедоступны, я охотно соглашусь. Но ведь и стихи Тютчева тоже по большей части совсем не общедоступные. Тютчева же восторженно признавал великим поэтом даже Менделеев.

В основных и главных чертах своей идеологии Вяч Иванов был верным учеником Ницше. Не того, впрочем, Ницше, что написал «Веселую науку», «По ту сторону добра и зла», «Так говорил Заратустра», а того, что в бытность свою молодым и не по возрасту блестящим профессором филологии, написал «Рождение трагедии из духа музыки». В ту пору, когда молодой Ницше писал эту свою первую книгу, в его жизни не было ничего, похожего на трагедию. Трагедию он тогда изучал только извне, как привлекательную и занимательную тему. В книге Ницше есть много учености и литературы. В ней не хватает только одного — трагического опыта.

Под влиянием Ницше и его «Рождения трагедии» Вячеслав Иванов тоже написал книгу о трагизме и трагическом. Она называется «Религия страдающего бога» и посвящена культу Диониса (Вакха).

По преданию бог Дионис, бог вина, оргий и одержимости был разорван воспламененными им же самим вакханками. Дионис был од- ним из претерпевающих мученичество и смерть богов. Очевидно, сердце у него было

Жертвенное, как солнце
Вечеру, ввечеру.

Вот об этом жертвенном Дионисе и его культе Вячеслав Иванов и написал свою ученейшую филологическую книгу. Думаю, что у этой прекрасной и интересной книги тот же недостаток, как и у породившей ее книги Ницше: в ней нет, вовсе нет трагического опыта. И Ницше в своем «Рождении трагедии», и Вячеслав Иванов в своей «Религии страдающего бога» подходят к трагизму и трагедии так сказать снаружи, не испытав и даже, вероятно, не догадываясь, что делается внутри. Ницше испытал это внутри в полной мере, это случилось с ним очень скоро после того, как он написал свое совсем не трагическое «Рождение трагедии». Вячеслав Иванов был много счастливее. За все время его жиз-

ни и писательской деятельности в Петербурге отношение его к трагическому началу было и оставалось чисто литературным. Не будь этого, никогда не удалось бы ему стать эстетическим вождем, мэтром в русской литературной жизни.

И вот нет его больше среди нас. «Что пользы человеку от трудов его, которыми трудится он под солнцем?» Или, может быть, самоочевидный Экклезиаст все-таки не совсем до конца прав, и есть какая-то потаенная лазейка и в его убивающей самоочевидности? Но об этом стоит говорить только с теми, кто знал трагизм и трагедию не только снаружи, но и изнутри.

1949

